



ИВАН
СОЛОНЕВИЧ
РОССИЯ
В КОНЦЛАГЕРЕ
ЖЕСТОКИЙ
ДОКУМЕНТ
ЭПОХИ



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

Документальный триллер

Иван Солоневич

**Россия в концлагере.
Жестокий документ эпохи**

«Алисторус»

2026

УДК 94(47).084.6
ББК 63.3(2)614-2

Солоневич И. Л.

Россия в концлагере. Жестокий документ эпохи /
И. Л. Солоневич — «Алисторус», 2026 — (Документальный
триллер)

ISBN 978-5-00269-688-8

В 1934 году выдающийся русский публицист Иван Солоневич (1891–1953) совершил невозможное: он сбежал из ГУЛАГа вместе с братом и сыном, пройдя сотни километров по тайге до финской границы. «Россия в концлагере» – это попытка осмысления истории своей страны после революции, взгляд наблюдательного репортера, который оказался на свободе и получил возможность высказать все то, о чем вынужден был молчать долгие годы. Лагерь рассматривается автором как срез советского общества и советской системы управления. Здесь те же люди, та же логика страха, тот же абсурд бюрократии и та же борьба за выживание, что и на воле. Беломорканал становится зеркалом всей Советской России. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47).084.6
ББК 63.3(2)614-2

ISBN 978-5-00269-688-8

© Солоневич И. Л., 2026
© Алисторус, 2026

Содержание

Иван Солоневич	6
Несколько предварительных объяснений	6
Беломорско-Балтийский комбинат – ББК	12
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Иван Лукьянович Солоневич

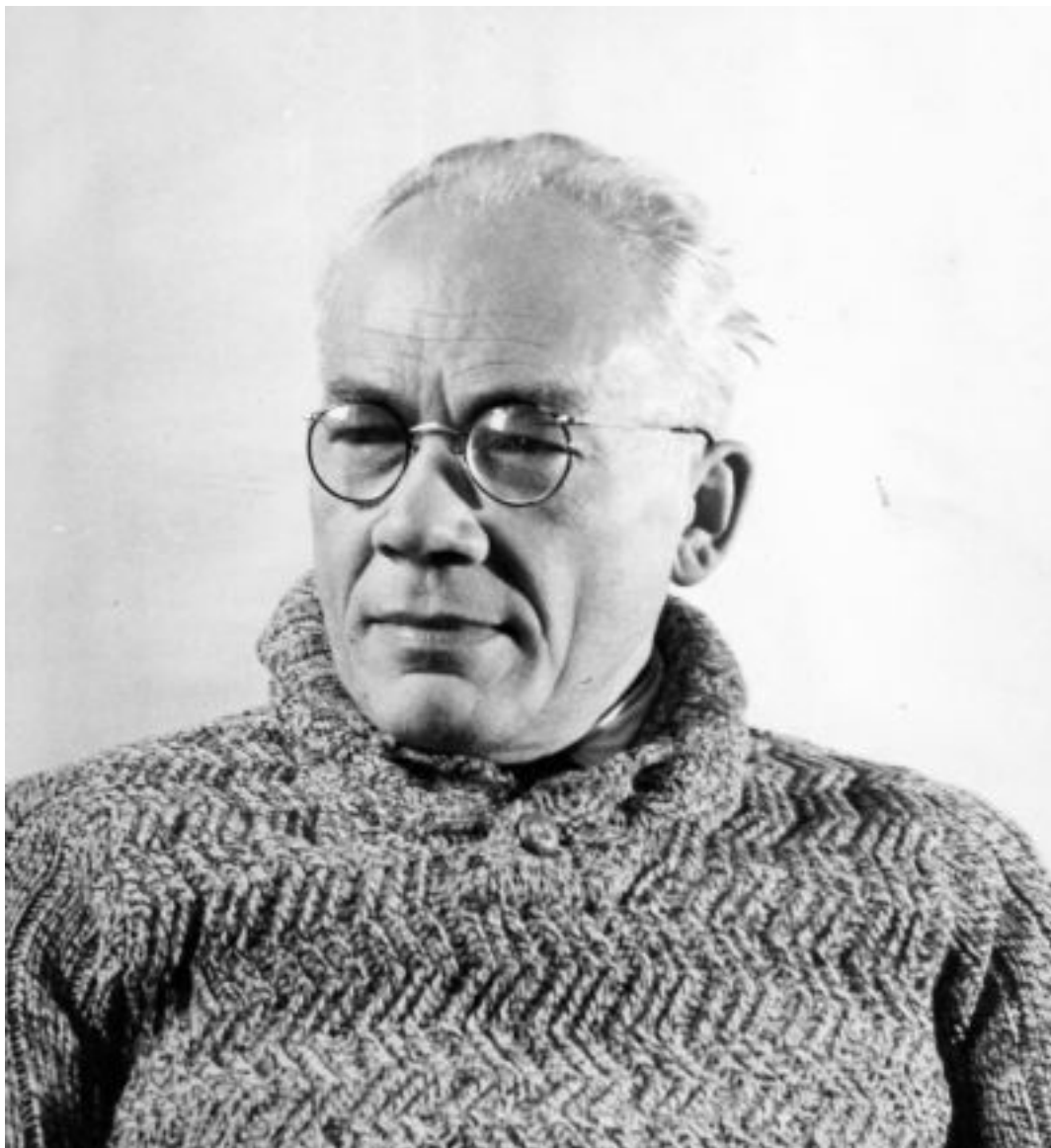
Россия в концлагере

Жестокий документ эпохи

© Солоневич И.Л., 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

* * *



Иван Лукьянович Солоневич (1 (13) ноября 1891 – 24 апреля 1953)

Иван Солоневич

Несколько предварительных объяснений

Вопрос об очевидцах

Я отдаю себе совершенно ясный отчет в том, насколько трудна и ответственна всякая тема, касающаяся советской России. Трудность этой темы осложняется необычайной противоречивостью всякого рода «свидетельских показаний» и еще большей противоречивостью тех выводов, которые делаются на основании этих показаний.

Свидетелям, вышедшим из советской России, читающая публика вправе несколько не доверять, подозревая их, и не без некоторого психологического основания, в чрезмерном ступлении красок. Свидетели, наезжающие в Россию извне, при самом честном своем желании технически не в состоянии видеть ничего существенного, не говоря уже о том, что подавляющее большинство из них ищет в советских наблюдениях не проверки, а только подтверждения своих прежних взглядов. А ищущий, конечно, находит...

Помимо этого значительная часть иностранных наблюдателей пытается – и не без успешно – найти положительные стороны сурового коммунистического опыта, оплаченного и оплачиваемого не за их счет. Цена отдельных достижений власти – а эти достижения, конечно, есть – их не интересует: не они платят эту цену. Для них этот опыт более или менее бесплатен. Вивисекция производится не над их живым телом. Почему же не воспользоваться ее результатами?

Полученный таким образом «фактический материал» подвергается затем дальнейшей обработке в зависимости от насущных и уже сформировавшихся потребностей отдельных политических группировок. В качестве окончательного продукта всего этого «производственного процесса» получают картины или обрывки картин, имеющие очень мало общего с «исходным продуктом» – советской реальностью: должное получает подавляющий перевес над «сущим».

Факт моего бегства из СССР в некоторой степени предопределяет тон и моих «свидетельских показаний». Но если читатель примет во внимание то обстоятельство, что и в концлагерь-то я попал именно за попытку бегства из СССР, то этот тон получает несколько иное, не слишком банальное объяснение: не лагерные, а общероссийские переживания толкнули меня за границу.

Мы трое, т. е. я, мой брат и сын, предпочли совсем всерьез рискнуть своими жизнями, чем продолжать свое существование в социалистической стране. Мы пошли на этот риск без всякого непосредственного давления извне. Я в материальном отношении был устроен значительно лучше, чем подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенции, и даже мой брат, во время наших первых попыток бегства еще отбывавший после Соловков свою «административную ссылку», поддерживал уровень жизни, на много превышающий уровень, скажем, русского рабочего. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этих масштабов: уровень жизни советского инженера на много ниже уровня жизни финляндского рабочего, а русский рабочий вообще ведет существование полуголодное.

Следовательно, тон моих очерков вовсе не определяется ощущением какой-то особой, личной обиды. Революция не отняла у меня никаких капиталов – ни движимых, ни недвижимых – по той простой причине, что капиталов этих у меня не было. Я даже не могу питать

никаких специальных и личных претензий к ГПУ: мы были посажены в концлагерь не за здорово живешь, как попадает, вероятно, процентов восемьдесят лагерников, а за весьма конкретное «преступление» и преступление с точки зрения советской власти особо предосудительное: попытку оставить социалистический рай. Полгода спустя после нашего ареста был издан закон от 7 июня 1934 года, карающий побег за границу смертной казнью. Даже и советски настроенный читатель должен, мне кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы из него приходится охранять суровее, чем выходы из любой тюрьмы.

Диапазон моих переживаний в советской России определяется тем, что я прожил в ней 17 лет и за эти годы с блокнотом и без блокнота, с фотоаппаратом и без фотоаппарата я исколесил ее всю. То, что я пережил в течение этих советских лет и то, что я видал на пространствах советских территорий, определило для меня невозможность оставаться в России. Мои личные переживания, как потребителя хлеба, мяса и пиджаков, не играли в этом отношении решительно никакой роли. Чем именно определялись эти переживания, будет видно из моих очерков, в двух строчках этого сказать нельзя.

Две силы

Если попытаться предварительно и, так сказать, эскизно определить тот процесс, который сейчас совершается в России, то можно сказать приблизительно следующее.

Процесс идет чрезвычайно противоречивый и сложный. Властью создан аппарат принуждения такой мощности, какого история еще не видала. Этому принуждению противостоит сопротивление почти такой же мощности. Две чудовищные силы сцепились друг с другом в обхватку, в беспримерную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается от непосильности задач; страна задыхается от непосильности гнета.

Власть ставит своей целью мировую революцию. Ввиду того, что надежды на близкое достижение этой цели рухнули, страна должна быть превращена в моральный, политический и военный плацдарм, который сохранил бы до удобного момента революционные кадры, революционный опыт и революционную армию.

Люди же составляющие эту «страну», становиться на службу мировой революции не хотят и не хотят отдавать своего достоинства и своих жизней. Власть сильнее «людей», но «людей» больше. Водораздел между властью и «людьми» проведен с такой резкостью, с какою это обычно бывает только в эпохи иноземного завоевания. Борьба принимает формы средневековой жестокости.

Ни на Невском, ни на Кузнецком мосту ни этой борьбы, ни этих жестокостей не видеть. Здесь – территория, уже прочно завоеванная властью. Борьба идет на фабриках и заводах, в степях Украины и Средней Азии, в горах Кавказа, в лесах Сибири и Севера. Она стала гораздо более жестокой, чем она была даже в годы военного коммунизма – отсюда чудовищные цифры «лагерного населения» и не прекращающееся голодное вымирание страны.

Но на завоеванных территориях столиц, крупнейших промышленных центров, железнодорожных магистралей достигнут относительный внешний порядок: «враг» или вытеснен или уничтожен. Террор в городах, резонирующий по всему миру, стал не нужен и даже вреден. Он перешел в низы, в массы, от буржуазии и интеллигенции – к рабочим и крестьянам, от кабинетов – к сохе и станку. И для постороннего наблюдателя он стал почти незаметен.

Концентрационные лагеря

Тема о концлагерях в советской России уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно, как тема «ужасов» и как тема личных переживаний людей, попавших в концлагерь более или менее безвинно. Меня концлагерь интересует не как терри-

тория «ужасов», не как место страданий и гибели миллионных масс, в том числе и не как фон моих личных переживаний, каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментального романа и не собираюсь вызвать в читателе чувства симпатии или сожаления. Дело не в сожалении, а в понимании.

И вот именно здесь, в концлагере, легче и проще всего понять основное содержание и основные «правила» той борьбы, которая ведется на пространстве всей социалистической республики.

Я хочу предупредить читателя: ничем существенным лагерь от «воли» не отличается. В лагере если и хуже, чем на воле, то очень уж не на много – конечно для основных масс лагерников, рабочих и крестьян. Все то, что происходит в лагере, происходит и на воле. И наоборот. Но только в лагере все это нагляднее, проще, четче. Нет той рекламы, нет тех идеологических надстроек, подставной и показной общественности, белых перчаток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие существуют на воле. В лагере основы советской власти представлены с четкостью алгебраической формулы.

История моего лагерного бытия и побега если не доказывает, то во всяком случае показывает, что эту формулу я понимал правильно. Подставив в нее вместо отвлеченных алгебраических величин живых и конкретных носителей советской власти в лагере, живые и конкретные взаимоотношения власти и населения, я получил нужное мне решение, обеспечившее в исключительно трудных объективных условиях успех нашего очень сложного технически побега.

Возможно, что некоторые страницы моих очерков покажутся читателю циничными... Конечно, я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца; в той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, таких агнцев вообще не осталось, они вымерли. Но я прошу не забывать, что дело шло совершенно реально о жизни и смерти, и не только моей.

В той общей борьбе не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорил, нельзя представлять себе дело так, что вот с одной стороны беспощадные палачи, а с другой – только безответные жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось миллионов способов и открытого сопротивления и «применения к местности» и всякого рода изворотов, не всегда одобряемых евангельской моралью. И не нужно представлять себе страдание непременно в ореоле святости. Я буду рисовать советскую жизнь в меру моих способностей такую, какою я ее видел. Если некоторые страницы этой жизни читателю не понравятся – это не моя вина.

Империя ГУЛАГа

Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагерного населения до неслыханных цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были Соловки и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации даровой рабочей силы, находящейся в ведении Главного Управления Лагерями ГПУ – ГУЛАГа. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников; на воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не является изнанкой, неким *Unterwelt* от воли, а просто отдельным и даже не очень своеобразным куском советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодный, лучше одетый и менее интенсивно расстреливаемый, чем сейчас, то это и будет куском будущей России, при условии ее дальнейшей «мирной эволюции». Я беру слово «мирная» в кавычки, ибо этот худой мир намного хуже основательной войны... А сегодняшняя Россия пока очень немногим лучше сегодняшнего концлагеря.

Лагерь, в который мы попали – Беломорско-Балтийский Комбинат (ББК) – это целое королевство с территорией от Петрозаводска до Мурманска, с собственными лесоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, железнодорожными ветками и даже с собственными верфями и пароходством. В нем девять отделений: мурманское, туломское, кемское, сорокское, сегожское, сосновецкое, водораздельное, повенецкое и медгорское. В каждом таком отделении – от пяти до двадцати семи лагерных пунктов (лагпункты) с населением от пятисот человек до двадцати пяти тысяч. Большинство лагпунктов имеют еще свои «командировки» – всякого рода мелкие предприятия, разбросанные на территории лагпункта.

На ст. Медвежья Гора (Медгора) находится управление лагерем – оно же и фактическое правительство так называемой «Карельской республики»; лагерь поглотил республику, захватил ее территорию и – по известному приказу Сталина об организации Балтийско-Беломорского Комбината – узурпировал все хозяйственные и административные функции правительства. Этому правительству осталось только «представительство», побегушки по приказам Медгоры да роль декорации национальной автономии Карелии.

В июне 1934 года «лагерное население» ББК исчислялось в 286 тысяч человек, хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка: работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были уже закончены, и огромное число заключенных – я не знаю точно, какое именно – было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). В начале марта того же года мне пришлось работать в плановом отделе Свирского лагеря – это один из сравнительно мелких лагерей; в нем было тогда 78 000 «населения».

Некоторое время я работал в учетно-распределительной части (УРЧ) ББК и в этой работе сталкивался со всякого рода перебросками из лагеря в лагерь. Это дало мне возможность с очень грубой приблизительностью определить число заключенных всех лагерей СССР. Я при этом подсчете исходил с одной стороны – из точно мне известных цифр «лагерного населения» Свирлага и ББК, а с другой – из, так сказать, «относительных величин» остальных более или менее известных мне лагерей. Некоторые из них больше ББК (БАМ, Сиблаг, Дмитлаг); большинство – меньше. Есть совсем уж неопределенное количество мелких и мельчайших лагерей – в отдельных совхозах, даже в городах. Так, например, в Москве и Петербурге стройки домов ГПУ и стадионов «Динамо» производились силами местных лагерников. Есть десятка два лагерей средней величины – так, между ББК и Свирлагом. Я не думаю, чтобы общее число всех заключенных в этих лагерях было меньше пяти миллионов человек. Вероятно, несколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не может быть и речи. Больше того, я знаю системы низового подсчета в самом лагере и поэтому сильно сомневаюсь, чтобы само ГПУ знало о числе лагерников с точностью хотя бы до сотен тысяч.

Здесь идет речь о лагерниках в строгом смысле этого слова. Помимо них существуют всякие другие более или менее заключенные слои населения. Так, например, в ББК в период моего пребывания там находилось 28000 семейств так называемых «спецпереселенцев» – это крестьяне Воронежской губернии, высланные в Карелию целыми селами на поселение к под надзор ББК. Они находились в гораздо худшем положении, чем лагерники, ибо они были с семьями и пайка им не давали. Далее следует категория административно ссыльных, высылаемых в индивидуальном порядке; это вариант довоенной ссылки, только без всякого обеспечения со стороны государства – живи, чем хочешь. Дальше – «вольно ссыльные» крестьяне, высылаемые обычно целыми селами на всякого рода «неудобоусвояемые земли», но не находящиеся под непосредственным ведением ГПУ.

О количестве всех этих категорий, не говоря уже о количестве заключенных в тюрьмах, я не имею никакого даже и приблизительного представления. Надо иметь в виду, что все эти заключенные и полузаключенные люди – все это цвет нации, в особенности крестьяне. Думаю, что не меньше одной десятой части взрослого мужского населения страны находится или в лагерях или где-то около них.

Это, конечно, не европейские масштабы. Системы советских ссылок как-то напоминают новгородский «вывод» при Грозном, а еще больше – ассирийские методы и масштабы.

«Ассирийцы, – пишет Каутский, – додумались до системы, которая обещала их завоеваниям большую прочность: там, где они наталкивались на упорное сопротивление или повторные восстания; они парализовали силы побежденного народа таким путем, что отымали у него голову; то есть отымали у него господствующие классы – самые знатные, образованные и боеспособные элементы и отсылали их в отдаленную местность, где они, оторванные от своей подпочвы, были совершенно бессильны. Оставшиеся на родине крестьяне и мелкие ремесленники представляли плохо связанную массу, не способную оказать какое-нибудь сопротивление завоевателям».

Советская власть повсюду «наталкивалась на упорное сопротивление и повторные восстания» и имеет все основания опасаться в случае внешних осложнений такого подъема «сопротивления и восстаний», какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда – и ассирийские методы и ассирийские масштабы. Все более или менее хозяйственно устойчивое, способное мало-мальски самостоятельно мыслить и действовать, короче говоря, все то, что оказывает хоть малейшее сопротивление всеобщему нивелированию, подвергается «выводу, искоренению, изгнанию».

Как видите, эти цифры очень далеки и от «мирной» эволюции и от «ликвидации террора». Боюсь, что во всякого рода эволюционных теориях русская эмиграция слишком увлеклась тенденцией видеть чаемое как бы сущим. В России об этих теориях не слышно абсолютно ничего, и для нас – всех троих – эти теории эмиграции явились полнейшей неожиданностью, как снег на голову. Конечно, нынешний маневр власти «защита родины» обсуждается и в России, но за всю мою весьма многостороннюю советскую практику я не слыхал ни одного случая, чтобы этот маневр обсуждался, так сказать, всерьез, как его обсуждают здесь, за границей.

При нэпе власть использовала инстинкт собственности и, используя, послала на Соловки и на расстрел десятки и сотни тысяч своих временных нэповских «помощников». Первая пятилетка использовала инстинкт строительства и привела страну к голоду, еще не бывалому даже в истории социалистического рая. Сейчас власть пытается использовать национальный инстинкт для того, чтобы в момент военных испытаний обеспечить, по крайней мере, свой тыл.

История всяких помощников, попутчиков, сменовеховцев и прочих, использованных до последнего волоса и потом выкинутых на расстрел, могла бы заполнить целые тома. В эмиграции и за границей об этой истории позволительно время от времени забывать, не эмиграция и не за граница платила своими шкурами за тенденции видеть «чаемое как бы сущим». Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своих нэповских пророчествах, решительно ничего не стоит в тиши харбинского кабинета сменить свои вехи еще один раз (или далеко не один раз) и сострять свое пророчество. В России люди, ошибающиеся в своей оценке и поверившие власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человек, который в России стал бы всерьез говорить об эволюции власти, был бы просто поднят на смех.

Но как бы ни оценивать шансы «мирной эволюции», мирного вращивания социализма в кулака (можно утверждать, что издали виднее), один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил, краском Тренин в «Последних Новостях»: страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите «социалистического отечества» со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась войнами какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину красной армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист! Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и т. д., и эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны.

Я не могу сказать, чтобы вопросы отношения масс к религии, монархии, республике и пр. были для меня совершенно ясны. По вопросу об отношении к войне выпирает с такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок. Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видеть. Достаточно хорошо зная русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны: военный коммунизм покажется детским спектаклем. Некоторые репетиции этого спектакля я видел уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне. Коммунизм это знает совершенно точно, и вот почему он пытается ухватиться за ту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась. Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории, так по крайней мере утверждает Вудворт, но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один, совсем лишний раз, обмануть людей, сидящих в Париже или в Харбине, но нельзя еще один раз (который, о Господи!) обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе. Для них сейчас *ibi bene* – *ibi patria*, а хуже, чем на советской родине, им все равно не будет нигде. Это, как видите, очень прозаично, не очень весело, но все-таки факт.

Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстания – и у себя и у противника. Или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стоит так: «где раньше вспыхнут массовые восстания – у нас или у противника. Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать, и поэтому мы будем наступать».

К чему может привести это наступление, я не знаю. Но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом. И тогда господам Устрялову, Блюму, Бернарду Шоу и многим другим, покровительственно поглаживающим большевистского пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочок долларов, придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в Соловках и ББКХ, как их пересматривают много, очень много людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России.

В этом, все же не вполне исключенном случае, неудобоусвояемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих, ныне благополучно верующих людей – откуда же взять эти просторы, как не на Российском севере?

И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя.

Беломорско-Балтийский комбинат – ББК

Одиночные размышления

В камере мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стен и лужицы с полу. К полудню пол снова в лужах.

Около семи часов утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба – это мой дневной паек – и кружку кипятку. В полдень – блюдечко ячкаши, вечером – тарелку жидкости, долженствующей изображать щи и тоже блюдечко каши.

По камере можно гулять из угла в угол, выходит четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускают, книг и газет не дают, всякое сообщение с внешним миром отрезано. Нас арестовали весьма конспиративно, и никто не знает и не может знать, где мы, собственно, находимся. Мы – т. е. я, мой брат Борис и сын Юра. Но они где-то по другим одиночкам.

Я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя. Только чья-то рука просовывается с едой, и чей-то глаз каждые 10–15 минут заглядывает в волчок. Владелец глаза ходит неслышно, как привидение, и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей, звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком. Только один раз я явственно разобрал содержание этого крика:

– Товарищи, братишки, на убой ведут...

Ну, что же. В какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня. Все объективные основания для этого «убоя» есть. Мой расчет заключается, в частности, в том, чтобы не дать довести себя до этого «убоя». Когда-то, еще до голодовок социалистического рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизменно вспоминая при этом андреевского студента из «Рассказа о семи повешенных». Я надеюсь, что у меня еще хватит силы, чтобы кое-кому из людей, которые вот так ночью войдут ко мне с револьверами в руках, переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей. Все-таки это проще.

Но, может быть, захватят сонного и врасплох, как захватили в вагоне. К тогда придется пройти весь этот скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ног, со скрученными на спине руками, все ниже и ниже, в таинственный подвал ГПУ... И с падающим сердцем ждать последнего – уже неслышного – толчка в затылок.

Ну, что ж... Не уютно, но я не первый и не последний. Еще не уютнее мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. В его биографии – Соловки, и у него совсем уж мало шансов на жизнь. Но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя.

А как с Юрой? Ему еще нет 18-ти. Может быть, пощадят, а может быть и нет. И когда в воображении всплывает его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова... В Киеве, на Садовой 5, после ухода большевиков я видел человеческие головы, простреленные из нагана на близком расстоянии. «...Пуля имела модный чекан, и мозг не вытек, а выпер комом...».

Когда я представляю себе Юру, плетущегося по этому скорбному пути и его голову... Нет, об этом нельзя думать. От этого становится тесно и холодно в груди и мутится в голове. Тогда хочется сделать что-нибудь решительное и ни с чем не сообразное.

Но не думать тоже нельзя. Бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи, неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз. Тускло светит с середины потолка электрическая лампочка. Со стен несет сыростью. О чем думать в такие ночи?

О будущем думать нечего. Где-то там, в таинственных глубинах Шпалерки, уже, может быть, лежит клочок бумажки, на котором черным по белому написана моя судьба, судьба брата и сына и об этой судьбе думать нечего, потому что она не известна, потому что в ней изменить я уже ничего не могу.

Говорят, что в памяти умирающего проходит вся его жизнь. Так и у меня. Мысль все настойчивее возвращается к прошлому, к тому, что за все эти революционные годы было пережито, передумано, сделано, точно на какой-то суровой, аскетической исповеди перед самим собой; исповеди тем более суровой, что именно я, как «старший в роде», как организатор, а в некоторой степени и инициатор побега, был ответственен не только за свою собственную жизнь. И вот, я допустил техническую ошибку.

Было ли это ошибкой?

Да, техническая ошибка, конечно, была. Именно в результате её мы очутились здесь. Но не было ли чего-либо более глубокого, не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России? Неужели же нельзя было остаться, жить так, как живут миллионы, пройти вместе со своей страной весь её трагический путь в неизвестность? Действительно ли не было никакого жития, никакого просвета?

Внешнего толчка в сущности не было вовсе. Внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью, более спокойной и более обеспеченной, чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции. Правда, Борис прошел многое, в том числе и Соловки, но и он, даже будучи ссыльным, устраивался как-то лучше, чем устраивались другие.

Я вспоминаю страшные московские зимы 1928–1930 годов, когда Москва – конечно, рядовая, неофициальная Москва – вымерзала от холода и вымирала от голода. Я жил под Москвой в 20 верстах, в Салтыковке, где живут многострадальные «зимогоры» для которых в Москве не нашлось жилплощади. Мне нужно было ездить в Москву на службу, ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма. Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. В Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дразг, подслушивания, грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре; без вечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади, без управдомовской слежки и прочих московских ароматов. В Салтыковке кроме того можно было, хотя бы частично, отгораживаться от холода и голода.

Летом мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворост был давно подобран под метёлку). Конечно, всего этого было мало, тем более, что время от времени в Москве наступали моменты, когда ничего мало-мальски съедобного иначе, как по карточкам, нельзя было достать ни за какие деньги; по крайней мере легальным путём.

Поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям. Так, одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой; не какой-нибудь грибной икрой, которая по цене около трёхки за кило предлагается «кооперированным трудящимся» и которой даже эти трудящиеся есть не могут, а настоящей, живой чёрной икрой, зернистой и паусной. Хлеба, впрочем, не было...

Факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы, конечно, служить иллюстрацией «беспримерного в истории подъёма благосостояния масс», но по существу дело обстояло прозаичнее.

В старом Елисеевском магазине на Тверской обосновался «Инснаб», из которого бесхлебное советское правительство снабжало своих иностранцев, приглашённых по договорам

иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнее снабжалась из кремлёвского распределителя.

Впрочем, это был период, когда и для иностранцев уже немного оставалось. Каждый из них получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество, это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости – картофеля, хлеба, сахару и пр. И наоборот, икра, сёмга, балыки, вина и пр. отпускались без ограничения. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10–20 ниже рыночных.

Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногшибательное английское пальто и «неопалимая» сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся.

И вот, я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шествую мимо чекиста из паршивеньких, охраняющего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист ещё пытался спросить у меня пропуск, я величественно запускал руку в карман и ничего оттуда видимого не вынимая, проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба; картошка даже и при икре всё же надоедает, но хлеб строго нормирован и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну, что ж. Если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру.

Икра здесь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллер поглощал её в таких количествах, в каких её поглощала советская Салтыковка. Но к икре нужен был ещё и картофель.

С картофелем делалось так. Моё образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надевал свою выдавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотни где-нибудь у Земляного Вала. Там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки. Я посмотрю на неё, она посмотрит на меня. Потом я пройду ещё раз и спрошу её таинственным шепотком:

– Картошка есть?

– Какая тут картошка... – но глаза «спекулянтки» уже ощупывают меня. Ощупав меня взглядом и убедившись в моей добропорядочности, «спекулянтка» задаёт какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос:

– А вам картошки надо?

Потом мы идём куда-нибудь в подворотню, на задворки, где на какой-нибудь куче тряпья сидит мальчуган или девчонка, а под тряпьем – заветный, со столькими трудностями и риском привезенный в Москву мешочек с картошкой. За картошку я плачу по 5–6 рублей кило.

Хлеба же не было потому, что мои неоднократные попытки использовать все блага пресловутой карточной системы кончались позорным провалом: я бегал, хлопотал, доставал из разных мест разные удостоверения, торчал в потной и вшивой очереди в карточном бюро, получал карточки и потом ругался с женой, по экономически-хозяйственной инициативе которой затевалась вся эта волынка.

Я вспоминаю газетные заметки о том, с каким «энтузиазмом» приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России; «энтузиазм» извлекался из самых, казалось бы, безнадёжных источников. Но карточная система организована была действительно остроумно.

Мы все трое – на советской работе, и все трое имеем карточки. Но моя карточка прикреплена к распределителю у Земляного Вала, карточка жены – к распределителю на Тверской и карточка сына – где-то у Разгуляя. Это – раз. Второе. По карточке кроме хлеба получаю ещё и сахар по 800 г. в месяц. Талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают.

Так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива, постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ, что хлеб уже

весь вышел, будет к вечеру или завтра. Говорят, что сахару нет. На днях будет. Эта операция повторяется раза три-четыре, пока в один прекрасный день вам говорят:

– Ну, что ж вы вчера не брали? Вчера сахар у нас был.

– А когда будет в следующий раз?

– Да все равно эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.

И все в порядке. Карточки у вас есть? Есть. Право на два фунта сахару вы имеете? Имеете. А что вы этого сахару не получили – ваше дело. Не надо было зевать.

Я не помню случая, чтобы моих нервов и моего характера хватало больше, чем на неделю такой волокиты. Я доказывал, что за время, ухлопанное на всю эту идиотскую возню, можно заработать в два раза больше денег, чем эти паршивые, нищие советские обеды стоят на вольном рынке. Что для человека вообще и для мужчины в частности, ей Богу, менее позорно схватить кого-нибудь за горло, чем три часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш.

После вот таких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства. Хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру, который приблизительно в такой же степени, как и я, виноват в том раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабаке, или устроить вооруженное восстание. Но так как бить морду милиционеру – явная бессмыслица, а для вооруженного восстания нужно иметь, по меньшей мере, оружие, то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов – к жульничеству.

Я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь «Инснаб».

О морали

Я не питаю никаких иллюзий на счет того, что комбинация с «Инснабом» и другие в этом же роде, имея им – легион, не были жульничеством. Не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя.

Некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство, что в советской России так делали и делают все, начиная с государства. Государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку, на которой написано, что цена ей рубль и даже, что этот рубль обменивается на золото. Реальная же цена этой бумажки – немногим больше копейки, несмотря на ежедневный курсовой отчет «Известий», в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля. В течение 17-ти лет государство, если и не всегда грабит меня, то уж обжуливает систематически, изо дня в день. Рабочего оно обжуливает больше, чем меня, а мужика больше, чем рабочего. Я пропитываюсь «Инснабом» и не голодаю, рабочий ворует на заводе и все же голодает, мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножиком или ножницами в руках, стрижет колосья и совсем уж мрет с голоду. Мужик, ежели он попадетсЯ, рискует или расстрелом или минимум «при смягчающих вину обстоятельствах» – десятью годами концлагерЯ (закон от 7 августа 32 г.). Рабочий рискует тремя-пятью годами концлагерЯ или минимум – исключением из профсоюза. Я рискую минимум одним неприятным разговором и максимум несколькими неприятными разговорами, ибо никакой «широкой общественно-политической кампанией» мои хождения в «Инснаб» не предусмотрены.

Легкомысленный иностранец может упрекнуть и меня и рабочего и мужика в том, что «обжуливая государство, мы сами создаем свой собственный голод». Но и я и рабочий и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том, что государство – это отнюдь не мы, государство – это мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции: на китайскую красную армию, на английскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм коминтерновской шпаны; пойдут на военные заводы пятилетки, которая строится все же в расчете на войну за мировую

революцию; пойдут на укрепление того же дикого партийно-политического кабака, от которого стоном стоном все мы.

Нет, государство – это не я и не мужик и не рабочий. Государство для нас – это совершенно внешняя сила; насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям. И мы от этой службы изворачиваемся, как можем.

Теория всеобщего надувательства

Служба же эта заключается в том, чтобы мы возможно меньше ели и возможно больше работали во имя тех же бездонных универсально революционных appetitov. Во-первых, не евши, мы вообще толком работать не можем – одни потому, что сил нет, – другие потому, что голова занята поисками пропитания. Во-вторых, партийно-бюрократический кабак, нацеленный на мировую революцию, создает условия, при которых толком работать совсем уж нельзя. Рабочий выпускает браг; ибо вся система построена так, что брак является эго почти единственным продуктом; о том, как работает мужик, видно по неизбывному советскому голоду. Но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков. Что же касается лично меня, то я поставлен в такие условия, что не жульничать я никак не могу.

Я работаю в области спорта и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок, что люди у лыжных станций стоят в очереди часами, что стадион этот имеет единственное назначение – пустить пыль в глаза иностранцев, обжулить иностранную публику размахом советской физической культуры. Это делается для мировой революции. Я против стадиона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться от него.

Я пишу очерки о Дагестане. Из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт, что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии, что вербовочные организации вербуют туда людей – кубанцев и украинцев – приблизительно на верную смерть. Конечно, я не пишу о том, что золота, которое тоннами идет на революцию во всем мире и на социалистический кабак в одной стране, хватило бы на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана. И по моим очеркам выходит, что на Шипке все замечательно спокойно и живописно. Люди едут, приезжают с малярией и говорят мне вещи, от которых надо бы краснеть.

Я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства, неописываемый даже для советской России кабак животноводческих совхозов, концентрационные лагеря на реке Чу, цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств, выселенных сюда из Украины. Я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания, а киргизы зарезали бы меня, как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции: я русский и из Москвы. Для меня было бы очень невеселое похмелье на совсем уж чужом пиру, но какое дело киргизам до моих политических взглядов?

И обо всем этом я не могу писать ни слова. А не писать – тоже нельзя. Это значит – поставить крест на всякие попытки литературной борьбы и, следовательно, на всякие возможности заглянуть вглубь страны и собственным глазами увидеть, что там делается. И я вру.

Я вру, когда работаю переводчиком с иностранцами. Я вру, когда выступаю с докладами о пользе физической культуры, ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том, как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом. Я вру, когда составляю статистику советских физкультурников, целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами из всех наших пальцев, ибо «верхи» требуют крупных цифр, так сказать, для экспорта за границу.

Это все вещи похуже пяти килограмм икры из иностранного распределителя. Были вещи и еще похуже. Когда сын болел тифом и мне нужен был керосин, а керосина в городе не было, я воровал этот керосин в военном кооперативе, в котором служил в качестве инструктора. Из-за

двух литров керосина, спрятанных под пальто, я рисковал расстрелом (военный кооператив). Я рисковал своей головой, но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову, ставшую на дороге к этому керосину. И вот, крадучись с этими двумя литрами, торчавшими у меня из-под пальто, я наталкиваюсь нос к носу с часовым. Он понял, что у меня керосин и что этого керосина трогать не следует. А что бы было, если бы он этого не понял?

У меня до революции не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть, как, допустил, в случае переворота можно было бы вернуть дом. Но я потерял 17 лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции; в жульничество, которое диктовалось то голодом, то чрезвычайкой, то профсоюзом – а профсоюз иногда не многим лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отделался. Десятки миллионов заплатили всеми годами своей жизни, всей своей жизнью.

Временами появлялась надежда, что на российских просторах, удобренных миллионами трупов, обогащенных годами нечеловеческого труда и нечеловеческой плюшкинской экономики, взойдут, наконец, ростки какой-то человеческой жизни. Эти надежды появлялись до тех пор, пока я не понял с предельной ясностью: все это для мировой революции, но не для страны.

Семнадцать лет накапливалось великое отвращение. И оно росло по мере того, как рос и совершенствовался аппарат давления. Он уже не работал, как паровой молот, дробящими и слышными на весь мир ударами. Он работал, как гидравлический пресс, сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу, постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни.

Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны – это еще терпимо. Но когда у вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов еще и энтузиазма, жить становится вовсе неумоготу, захлестывает отвращение. Вот это отвращение и толкнуло нас к финской границе.

Техническая ошибка

Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезенья – называйте, как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собою разумеется, соответствующими документами и выяснил там приблизительно все, что мне нужно было. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября – время для Карелии совсем не подходящее, и перед нами встал вопрос: не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года?

Я справился в московском бюро погоды. Из его сводок явствовало, что весь август с сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Следовательно, угроза со стороны карельских болот отпадала, и мы двинулись.

Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало полагать заранее, советским бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них и с великим трудом и риском выбрались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 года.

8 июня 1933 года рано утром моя belle-soeur Ирина поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву «отменять билеты», я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись: аппендицит. Везти сына в Москву в больницу на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная – продовольствие, доку-

менты, оружие и пр. – была сорвана. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову.

Побег был отложен на начало сентября – ближайший срок поправки Юры после операции.

Настроение было подавленное. Трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные и все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из-под сознания бесформенной, но давящей тенью выползало смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом, у даром, не известно, с какой стороны.

Наша основная группа – я, сын, брат и жена брата – были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случаен: старый бухгалтер Степанов (фамилия вымышленна), у которого за границей в одном из лимитрофов осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один, как перст. Во всей организации побега он играл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости.

Но кроме этих пяти непосредственных участников побега, о проекте знал еще один человек – и вот именно с этой стороны пришел удар.

В Петрограде жил мой очень старый приятель Иосиф Антонович. И у него была жена г-жа Е., женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатками.

За три недели до нашего отъезда в моей салтыковской голубятне, как снег на голову, появляется г-жа Е. в сопровождении мистера Бабенко. Мистера Бабенко я знал по Питеру – в квартире Антоновича он безвылазно пьянствовал три года подряд.

Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда г-жа Е. стала просить меня захватить с собой и ее; и не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем или почти мужем – кто там разберет при советской простоте нравов.

Это еще не был удар, но это была уже опасность. При нашем нервном состоянии, взвинченном двумя годами подготовки, двумя годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела г-жа Е. посвящать мистера Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен, это стало ясно, несмотря на все отпирательства г-жи Е.

В субъективной лояльности г-жи Е. мы не сомневались. Но кто такой Бабенко? Если он сексот, мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем. Если он не сексот, он будет нам очень полезен: бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным знанием и прекрасной ориентировкой в лесу. А в Карелии, с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса, ориентировка в странах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи и лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность.

Зашел разговор об оружии, и Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана, и что на пятьсот шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека.

Этот «наган» подействовал на меня, как удар обухом. На пятьсот шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать. В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения.

Но что нам было делать? Если Бабенко сексот, то все равно мы уже «под стеклышком», все равно где-то здесь же в Салтыковке, по каким-то окнам и углам торчат ненавистные нам агенты ГПУ: все равно каждый наш шаг уже под контролем.

С другой стороны, какой смысл Бабенке выдавать нас? У г-жи Е. в Польше весьма солидное имение, Бабенко – жених г-жи Е., и это имение во всяком случае привлекательнее тех двадцати советских серебрянников, которые Бабенко, может быть, получит, а может быть и не получит за предательство.

Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений и давящих предчувствий. В сущности, с очень большим риском и с огромными усилиями мы еще имели возможность обойти ГПУ: ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской, и уже без документов и почти без денег.

Но... мы поехали. У меня было ощущение, то что я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники – это все мы.

В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка г-жи Е. отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через Интурист. Впоследствии уже здесь за границей я узнал, что к этому времени г-жа Е. уже была арестована. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плац-пересадочные билеты до ст. Шуйская, Мурманской ж.д.

Я не думаю, чтобы кто-либо из нас находился вполне в здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и «оставил без последствий» тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт – вразбивку 3, 6, 8 и т. д., что главный кондуктор без всякой к этому надобности заставил нас сесть «согласно взятым плацкартам», хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест. Да и пассажиры были странноваты.

Вечером мы все собрались в одном купе. Бабенко разлизал чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился.

Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал. Помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе, человек глухо стукнулся головой об стенку, что кто-то повис на моей руке, что кто-то обхватил мои колена, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло, а прямо в лицо уставились три или четыре револьверных дула.

Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула светом и осветила все: и Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбаков, бухгалтеров, железнодорожников, едущих в Мурманск, в Кемь, в Петрозаводск; составляли кроме нас все население вагона.

Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Стёпушки, чьим-то раздражающим душу стоном... Вот почтенный «инженер» тычет мне в лицо кольцом, кольт дрожит в его руках, инженер приглушенно, но тоже истерически кричит:

– Руки вверх! Руки вверх, говорю я вам! – Приказание явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую и на мои запястья уже надеты «восьмерка» – наручники, тесно сковывающие одну руку с другой. Какой-то вчерашний «бухгалтер» держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее. Словно все купе оцетинилось стволами каганов, кольцов, браунингов.

...Мы едем в Питер в том же вагоне что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего не заметил.

Я сижу у окна. Руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. В купе, ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты – по три человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной. Некоторые знают меня лично.

Для охоты на столь «крупного зверя», как мы с братом, ГПУ, по-видимому, мобилизовало половину тяжелоатлетической секции ленинградского Динамо. Хотели взять нас живьем и по возможности неслышно.

Сделано, что и говорить, чисто, хотя и не без лишних затрат. Но что для ГПУ значат затраты? Не только отдельный «салон вагон», и целый поезд могли для нас подставить.

На полке лежит уже не нужное ружье. У нас были две двустолки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины – маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы. В лесу, с его радиусом видимости в 40–50 метров, это было очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь в вагоне мы не успели за него даже и схватиться. Грустно, но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую.

В вагоне распоряжается тот самый толстый «инженер», который тыкал мне кольт в физиономию. Зовут его Добротиним. Он разрешает мне под очень усиленным конвоем пойти в уборную, и проходя через вагон, я обмениваюсь деланной улыбкой с Борисом, с Юрой. Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Стёпушка. Он считал, что на предательство со стороны Бабенки – один шанс на сто. Вот этот шанс и выпал.

Здесь же и тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной невинностью в бегающих глазах. Господи, кому при такой дешевой мизансцене нужен такой дешевый маскарад!

Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках – и никак не может раскрыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует: «Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике до сих пор не научились с восьмерками справляться?»

Потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием. Жму руку Бобу. Ирочка целует меня в лоб. Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит:

– Ну, что ж, Ватик. До свиданья... в четвертом измерении.

Это его любимая и весьма утешительная теория о метампсихозе в четвертом измерении; но голос не выдает уверенности в этой теории.

Ничего Юрчинька. Бог даст – в третьем встретимся.

...Стоит совсем пришибленный Стёпушка – он едва соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей – циклопические железобетонные стены тюрьмы ГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно в расчете на долгое, очень долгое время.

Я подымаюсь по каким-то узким бетонным лестницам. Потом целый лабиринт коридоров.

Двухчасовой обыск. Одиночка. Четыре шага вперед, четыре шага назад. Бессонные ночи. Лязг тюремных дверей... И ожидание.

Допросы

В коридорах тюрьмы собачий холод и образцовая чистота. Надзиратель идет сзади меня и командует: налево... вниз... направо... Полы устланы половиками. В циклопических стенах – глубокие ниши, ведущие в камеры. Это – корпус одиночек.

Вдали из-за угла коридора появляется фигура какого-то заключенного. Ведущий его надзиратель что-то командует и заключенный исчезает в нише. Я только мельком вижу безмерно исхудавшее обросшее лицо. Мой надзиратель командует:

– Проходите и не оглядывайтесь в сторону.

Я все-таки искоса оглядываюсь. Человек стоит лицом к двери, и надзиратель заслоняет его от моих взоров. Но это незнакомая фигура.

Меня вводят в кабинет следователя, и я к своему изумлению вижу Добротина, восседающего за огромным министерским письменным столом.

Теперь его руки не дрожат; на круглом, хорошо откормленном лице – спокойная и даже доброжелательная улыбка.

Я понимаю, что у Добротина есть все основания быть довольным. Это он провел всю операцию, пусть несколько театрально, но втихомолку и с успехом. Это он поймал вооруженную группу. Это у него на руках какое ни на есть, а все же настоящее дело, а ведь не каждый день да, пожалуй и не каждый месяц ГПУ, даже ленинградскому, удастся из чудовищных куч всякой провокации, липы, халтуры, инсценировок, доносов, «романов» и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно «жемчужное зерно» настоящей контрреволюции да еще и вооруженной.

Лицо Добротина лоснится, когда он приподымается, протягивает мне руку и говорит:

– Садитесь, пожалуйста, Иван Лукьянович! Я сажусь и всматриваюсь в это лицо, как хотите, а все-таки победителя. Добротин протягивает мне папиросу, и я закурываю. Я не курил уже две недели, и от папиросы чуть-чуть кружится голова.

– Чаю хотите?

Я, конечно, хочу и чаю. Через несколько минут приносят чай, настоящий чай, какого «на воле» нет, с лимоном и с сахаром.

– Ну-с, Иван Лукьянович, – начинает Добротин, – вы, конечно, прекрасно понимаете, что нам все, решительно все известно. Единственно правильная для вас политика – это карты на стол.

Я понимаю, что какие тут карты на стол, когда все карты и без того в руках уже Добротина. Если он не окончательный дурак – а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований – то помимо бабенковских показаний у него есть показания г-жи Е. и, что еще хуже, показания Стёпушки. А что именно Стёпушка с переполоху мог наворотить – этого наперед и хитрый человек не придумает.

Чай и папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему. Я почти спокоен. Я могу спокойно наблюдать за Добротиным, расшифровывать его интонации и строить какие-то планы самозащиты, весьма эфемерные планы, впрочем.

– Я должен вас предупредить. Иван Лукьянович, что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает. В особенности если вы последуете моему совету. Мы не мясники. Мы не расстреливаем преступников, гораздо более опасных, чем вы. Вот, – тут Добротин сделал широкий жест по направлению к окну. Там, за окном во внутреннем дворе ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы, – Вот, тут работают люди, которые были приговорены даже к расстрелу, и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Наша задача – не карать, а исправлять.

Я сижу в мягком кресле курю папиросу и думаю о том, что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает. Добротин меня обхаживает. А это может означать только одно: на базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела Добротин хочет создать какую-то «надстройку», раздуть дело, запутать в него кого-то еще. Кого именно, я еще не знаю.

– Вы, как разумный человек, понимаете, что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих. Следовательно, от вас зависят и судьбы ваших родных – вашего сына, брата... Поверьте мне, что я не только следователь, но и человек. Это, конечно, не значит, что вообще следователи не люди... Но ваш сын еще так молод.

Ну-ну, думаю я. Не ГПУ, а какая-то воскресная проповедь.

– Скажите, пожалуйста, товарищ Добротин, вот вы говорите, что не считаете нас опасными преступниками. К чему же тогда такой, скажем, расточительный способ ареста? Отдельный вагон, почти четыре десятка вооруженных людей...

– Ну, знаете, вы не опасны с точки зрения советской власти. Но вы могли быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала. Поверьте, о ваших атле-

тических достижениях мы знаем очень хорошо. И так ваш брат сломал руку одному из наших работников.

– Что это? Отягчающий момент?

– Э, нет. Пустяки. Но если бы наших работников было бы меньше, он переломал бы кости им всем. Пришлось бы стрелять... Отчаянный парень ваш брат.

– Неудивительно. Вы его лет восемь по тюрьмам таскаете за здорово живешь.

– Во-первых, не за здорово живешь. А во-вторых, конечно, с нашей точки зрения, ваш брат едва ли поддается исправлению. О его судьбе вы должны подумать особенно серьезно. Мне будет очень трудно добиться для него... более мягкой меры наказания. Особенно, если вы не поможете.

Добротин кидает на меня взгляд в упор, как бы ставя этим взглядом точку над каким-то не высказанным «і». Я понимаю, в переводе на общепонятный язык это значит: или вы подпишите все, что вам будет приказано, или...

Я еще не знаю, что именно мне будет приказано. По всей вероятности, я этого не подпишу... И тогда?

– Мне кажется, товарищ Добротин, что все дело совершенно ясно, и мне только остается письменно подтвердить то, что вы и так знаете.

– А откуда вам известно, что именно мы знаем?

– Помилуйте, у вас есть Степанов, г-жа Е., «вещественные доказательства» и, наконец, у вас есть товарищ Бабенко.

При имени Бабенко Добротин слегка улыбается.

– Ну, у Бабенки есть еще и своя история – по линии вредительства в Рыбпроме.

– Ага, так это он так заглаживает вредительство?

– Послушайте, – дипломатически намекает Добротин, – следствие веду я, а не вы.

– Я понимаю. Впрочем, для меня дело так же ясно, как и для вас.

– Мне не все ясно. Как, например, вы достали оружие и документы?

Я объясняю. Я, Юра и Степанов – члены союза охотников, следовательно, имели право держать охотничьи гладкоствольные ружья. Свою малокалиберную винтовку Борис спер в осоавиахимовском тире. Браунинг Юра привез из-за границы. Документы все совершенно легальны, официальные и получены таким же легальным и официальным путем там-то и там-то.

Добротин явственно разочарован. Он ждал чего-то более сложного, откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников, разыскать какие-нибудь «нити» и вообще развести всякую пинкертоновщину. Он знает, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку – в СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удастся. Я рассказываю, как мы с сыном участвовали в разных экспедициях – в Среднюю Азию, в Дагестан, Чечню и т. д., и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие. Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа, я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех «показаний», какие мне будут предложены. Мы оба терпим полное фиаско.

– Вот, что я вам предложу, – говорит, наконец, Добротин, – Я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите все показания, не скрывая решительно ничего. Ещё раз напоминаю вам, что от вашей откровенности зависит всё.

Добротин опять принимает вид рубахи парня, и я решаюсь воспользоваться моментом.

– Не можете ли вы вместе с бумагой приказать мне доставить хоть часть того продовольствия, которое у нас было отобрано?

Голодая в одиночестве, я не без вожделения в сердце своём вспоминал о тех запасах сала, сахару, сухарей, которые мы везли с собой и которые сейчас жрали какие-то чекисты.

– Знаете, Иван Лукьянович, это будет трудно. Администрация тюрьмы не подчинена следственным властям. Кроме того, ваши запасы, вероятно, уже съедены... Знаете ли, скоропортящиеся продукты.

– Ну, скоропортящиеся мы и сами могли бы съесть.

– Да... Вашему сыну я предлагал кое-что, – врал Добротин. – Постараюсь и вам. Вообще я готов идти вам навстречу и в смысле режима и в смысле питания... Надеюсь, что к вы...

– Ну, конечно. И в ваших и в моих интересах покончить со всей этой канителью возможно скорее; чем бы она ни кончилась.

Добротин понимает мой намёк.

– Уверяю вас, Иван Лукьянович, что ничем особенно страшным она кончиться не может... Ну, пока до свиданья.

Я подымалось со своего кресла и вижу, рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска, и на доске крупнокалиберный кольт со взведённым курком. Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы.

Стёпушкин роман

Вежливость – качество приятное даже в палаче. Конечно, очень утешительно, что мне не тыкали в нос наганом, не инсценировали расстрела. Но, во-первых, это до поры до времени, во-вторых, допрос не дал решительно ничего нового. Весь разговор совсем впустую. Никаким обещаниям Добротина я, конечно, не верю, как не верю и его крокодиловым вздыханиям по поводу Юриной молодости, Юру, впрочем, вероятно, посадят в концлагерь. Но что из того? За смерть отца и дяди он ведь будет мстить – он не из таких мальчиков. Значит, тот же расстрел, только немного позже. Стёпушка, вероятно, отделается дешевле всех. У него одного не было никакого оружия, он не принимал никакого участия в подготовке побега. Это старый, затрушенный и вполне аполитичный гроссбух. Кому он нужен, абсолютно одинокий, от всего оторванный человек, единственная вина которого заключалась в том, что он, рискуя жизнью, пытался пробраться к себе домой на родину, чтобы там доживать свои дни.

Я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова, чтобы узнать, где кончится следствие, как таковое, к где начнутся попытки выжать из меня «роман».

Мои показания забирает коридорный надзиратель и относит Добротину. Дня через три меня вызывают на допрос. Добротин встречает меня так же вежливо, как и в первый раз, но лицо его выражает разочарование.

– Должен вам сказать, Иван Лукьянович, что ваша писанина никуда не годится. Это всё мы и без вас знаем. Ваша попытка побега нас очень мало интересует. Нас интересует ваш шпионаж.

Добротин бросает это слово, как какой-то тяжёлый метательный снаряд, который должен сбить меня с ног и выбить из моего очень относительного, конечно, равновесия. Но я остаюсь равнодушным. Вопросительно и молча смотрю на Добротина. Добротин «пронизывает» меня взглядом. Техническая часть этой процедуры ему явственно не удаётся. Я курю добротинскую папироску и жду...

– Основы вашей «работы» нам достаточно полно известны, и с вашей стороны, Иван Лукьянович, было бы даже, так сказать... неумно эту работу отрицать. Но целый ряд отдельных нитей нам неясен. Вы должны нам их выяснить.

– К сожалению, ни насчет основ, ни насчёт нитей ничем вам помочь не могу.

– Вы, значит, собираетесь отрицать вашу «работу»?

– Самым категорическим образом. И преимущественно потому, что такой работы и в природе не существовало.

– Позвольте, Иван Лукьянович. У нас есть наши агентурные данные, у нас есть копии с вашей переписки. У нас есть показания Степанова, который во всём сознался...

Я уже потом, по дороге в лагерь, узнал, что со Стёпушкой обращались далеко не так великосветски, как со всеми нами. Тот же самый Добротин, который вот сейчас прямо лоснится от корректности, стучал кулаком по столу, крыл его матом, тыкал ему в нос кольцом и грозил «пристрелить, как дохлую собаку». Не знаю, почему именно, как дохлую.

Стёпушка наворотил. Наворотил совершенно жуткой чепухи, запутав в ней и людей, которых он знал. Он перепугался так, что стремительность его «показаний» прорвала все преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина, и Добротин в этой чепухе утоп.

Что он утоп, мне стало ясно после первых же минут допроса. Его «агентурные данные» не стоили двух копеек; слежка за мной, как оказалось, была, но ничего путного и выслеживать не было; переписка моя, как оказалось, перлюстрировалась вся, но и из неё Добротин ухитрился выкопать только факты, разбивающие его собственную или вернее Стёпушкину теорию. Оставалась одна эта теория, или точнее остов «романа», который я должен был облечь плотью и кровью, закрепить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело, на котором, может быть, можно было бы сделать карьеру и в котором увязло бы около десятка решительно ни в чем неповинных людей.

Если бы эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением, выбраться из нее было бы нелегко. Как-никак, знакомства с иностранцами у меня были. Связь с границей была. Все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения, ибо не только границу, но и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты, а советского жителя – от буржуазных соблазнов.

Я до сих пор не знаю, как именно конструировался остов этого романа. Мне кажется, что Стёпушкин переполох вступил в соцсоревнование с добротинским рвением, и из обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный убоюдок. В одну нелепую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу и та английская семья, которая приезжала ко мне в Салтыковку на week end, и несколько знакомых журналистов, и мои поездки по России и все, что хотите. Здесь не было никакой логической или хронологической увязки. Каждая «улика» вопиюще противоречила, другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу этого «романа». Но что было бы, если бы я ее доказывал? В данном виде это было варево, несъедобное даже для неприхотливого желудка ГПУ. Но если бы я указал Добротину на самые зияющие несообразности, он устранил бы их, и в коллегия ГПУ пошел бы обвинительный акт, не лишенный хоть некоторой самой отдаленной доли правдоподобия. Этого правдоподобия было бы достаточно для создания нового «дела» и для ареста новых «шпионов».

И я очень просто говорю Добротину, что я – по его же словам – человек разумный, и что именно поэтому я не верю ни в его обещания, ни в его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпионами – несусветный вздор, и что вообще никаких показаний на эту тему я подписывать не буду; что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никак не поймать.

Добротин как-то сразу осекся, его лицо на один миг перекашивается яростью, и из-под лоснящейся поверхности хорошо откормленного и благодушно-корректного, если хотите, даже европеизированного «следователя» мелькает оскал чекистских челюстей.

– Ах, вы так...

– Я так.

Мы несколько секунд смотрим друг на друга в упор.

– Ну, мы вас заставим сознаться.

– Очень мало вероятно.

По лицу Добротина видна, так сказать, борьба стилей. Он сбился со своего европейского стиля и почему-то не рискует перейти к обычному чекистскому. Толи ему не приказано, толи он побаивается. За три недели тюремной голодовки я не очень уж ослаб физически и терять мне было нечего. Разговор заканчивается совсем уж глупо.

– Вот, видите. – раздраженно говорит Добротин. – А я для вас даже выхлопотал сухарей из вашего запаса.

– Что же вы думали купить сухарями мои показания?

– Ничего я не думал покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти в камеру.

Синедрион

На другой же день меня снова вызывают на допрос. На этот раз Добротин не один. Вместе с ним еще каких-то три следователя, видимо, чином значительно выше. Один в чекистской форме с двумя ромбами в петлице. Дело идет всерьез.

Добротин держится пассивно и в тени. Допрашивают те трое. Около пяти часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых, снова выплывает уродливый, нелепый остов Стёпушкиного детективного романа, но на этот раз уже в новом варианте. Меня в шпионаже уже не обвиняют. Но граждане X, Y, Z и прочие занимались шпионажем, и я об этом не могу не знать. О Степушкином шпионаже тоже почти не заикаются, весь упор делается на нескольких моих иностранных и не иностранных знакомых. Требуется, чтобы я подписал показания, их изобличающие, и тогда – опять разговор о молодости моего сына, о моей собственной судьбе, о судьбе брата. Намеки на то, что мои показания весьма существенны «с международной точки зрения», что ввиду дипломатического характера моего этого дела имя мое нигде не будет названо. Потом намеки – и весьма прозрачные – на расстрел всех нас троих, в случае моего отказа и т. д. и т. д.

Часы проходят, я чувствую, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходят, то приходят. Мне трудно разобрать их лица. Я сижу на ярко освещенном месте, в кресле, у письменного стола. За столом Добротин, остальные в тени, у стены огромного кабинета, на каком-то диване.

Провраться я не могу, хотя бы просто потому, что я решительно ничего не выдумываю. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение временами уже завлакивает сознание какой-то апатией, каким-то безразличием. Я чувствую, что этот конвейер надо остановить.

– Я вас не понимаю, – говорит человек с двумя ромбами – Вас в активном шпионаже мы не обвиняем. Но какой вам смысл топить себя, выгораживая других. Вас они так не выгораживают.

Что значит глагол «не выгораживают» и еще в настоящем времени? Что это люди или часть из них уже арестованы? И действительно «не выгораживают» меня? Или просто это новый трюк?

Во всяком случае, конвейер надо остановить.

Со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее:

– Я журналист и, следовательно, достаточно опытный в советских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на одну минуту и ни на одну копейку не верю ни обещаниям, ни увещаниям ГПУ, весь этот роман я считаю форменным вздором и убежден в том, что таким же вздором считают его и мои следователи; ни один мало-мальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И что ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду.

– То есть, как это вы не будете? – вскакивает один из следователей и замолкает. Человек с двумя ромбами медленно подходит к столу и говорит:

– Ну, что ж, Иван Лукьянович. Вы сами подписали ваш приговор... И не только ваш. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти.

Я встаю и направляюсь к двери, у которой стоит часовая.

– Если надумаетесь, – говорит мне вдогонку человек с двумя ромбами, – сообщите вашему следователю. Если не будет поздно...

– Не надумаюсь.

Но когда я вернулся в камеру, я был совсем без сил. Точно вынули что-то самое ценное в жизни и голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием. Спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами? Разве я знаю, какие аресты произведены в Москве, и какие методы допросов были применены, и какие романы плетутся или сплетены там. Я знаю, я твердо знаю, знает моя логика, мой рассудок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Но откуда-то со дна сознания подымается что-то темное, что-то почти паническое, и за всем этим кудрявая голова сына, развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии.

Я забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы меня не видели в этот глазок, чтобы не подстерегли минуты упадка.

Но дверь лязгнула: в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не догадался, хотя я знал, что существует система медленного, но довольно верного самоубийства – перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерия передавлена, наступает сон, потом смерть. Но я уже оправился.

– Мне мешает свет.

– Все равно, голову закрывать не полагается.

Надзиратели ушли, но волчок поскрипывал всю ночь.

Приговор

Наступили дни безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах чекистской машины вертится стопка бумаги с пометкой «Дело 2248». Стопка бежит по каким-то роликам; подхватывается какими-то шестеренками. Потом подхватит ее какая-то одна, особенная шестеренка – и вот, придут ко мне и скажут:

«Собирайте вещи»...

Я узнаю, в чем дело, потому что они придут не вдвоем и даже не втроем. Они придут ночью. У них будут револьверы в руках, и эти револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках Добротина в вагоне номер 13.

Снова бесконечные бессонные ночи. Тускло с центра потолка подмигивает электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночек лишь изредка прерывается чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Ощущение человека, похороненного заживо.

Так проходит три месяца.

...Рано утром часов в шесть в камеру входит надзиратель. В руке у него какая-то бумажка.

– Фамилия?

– Солоневич, Иван Лукьянович.

– Выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года.

У меня чуть-чуть замирает сердце, но в мозгу уже ясно: это не расстрел. Надзиратель один и без оружия.

...Слушали: дело 2248 гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича, по обвинению его в преступлениях предусмотренных статьями 58 пункт 6; 58 пункт 10; 58 пункт 11 и 59 пункт 10...

Постановили: признать гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями и заключить его в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Распишитесь...

Надзиратель кладет бумажку на стол, текстом книзу. Я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела, дату и пр. Надзиратель не позволяет. Я отказываюсь расписаться. В конце концов он уступает.

Уже потом в концлагере я узнал, что это – обычная манера объявления приговора; впрочем, крестьянам очень часто приговора не объявляют вовсе. И человек попадает в лагерь, не зная или не помня номера дела, даты приговора, без чего всякие заявления и обжалования почти не возможны, и что в большей степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным.

Итак, восемь лет концентрационного лагеря. Путевка на восемь лет каторги, но все-таки не путевка на смерть.

Охватывает чувство огромного облегчения. И в тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов – отчего такой милостивый приговор, даже не 10, а только 8 лет? Что с Юрой, Борисом, Ириной, Стёпушкой? И в конце этого списка вопросов последний: как удастся очередная – которая по счету? – попытка побега? Ибо если мне и советская воля была невтерпеж, то что же говорить о советской каторге?

На вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов. Фигура романиста, как бы его ни улещали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже после окончательной редакции романа. Он уже написал все, что от него требовалось, а потом из концлагеря начнет писать заявления, опровержения, покаяния. Мало ли, какие группировки существуют в ГПУ. Мало ли, кто может друг друга подсиживать. От романиста проще отделаться совсем: мавр сделал свое дело, и мавр может отправляться ко всем чертям. Документ остается, и опровергать его уже некому. Может быть, меня оставили жить для того, чтобы ГПУ не удалось создать крупное дело. Может быть, благодаря признания советской России Америкой. Кто его знает, отчего?

Борис, значит, тоже получил что-то вроде 8–10 лет концлагеря. Исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего, можно было бы предполагать, что Юра отделается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места. Но у Юры были очень плохи дела со следователем. Он вообще от всяких показаний отказался, и Добротин мне о нем говорил: «Вот тоже ваш сын, самый молодой и самый жутковатый». Стёпушка своим романом мог себе очень сильно напортить.

В тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице.

В пересылке

Огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяким народом. Сегодня – «большой прием». Из провинциальных тюрем прибыли сотни крестьян, из Шпалерки – рабочие, урки (профессиональный уголовный элемент) и к моему удивлению всего несколько человек интеллигенции. Я издали замечаю всклокоченный чуб Юры, и Юра устремляется ко мне, уже издали показывая пальцами – три года. Юра исхудал почти до неузнаваемости: он оказывается, объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания. Мотив, не лишенный

оригинальности. Здесь же и Борис, тоже исхудавший, обросший бородами и уже поглощенный мыслью о том, как бы нам всем попасть в одну камеру. У него, как и у меня – восемь лет, но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют. Все живы – и то слава Богу.

Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций, а часа через два – мы все в одной камере, правда, одиночке, но сухой и светлой и главное без всякой посторонней компании. Здесь мы можем крепко обняться, обменяться всем пережитым и... обмозговать новые планы побега.

В этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились. Все мы были вместе и пока что вне опасности. У всех нас было ощущение выздоровления после тяжелой болезни, когда силы прибывают, и когда весь мир кажется ярче и чище, чем он есть на самом деле. При тюрьме оказалась старенькая библиотека. Нас ежедневно водили на прогулку. Сначала трудно было ходить: ноги ослабели и подгибались. Потом после того, как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы, Борис как-то предложил:

– Ну, теперь давайте тренироваться в беге. Дистанция – икс километров: совдепия – заграница.

На прогулку выводили сразу камер десять. Ходили по кругу, довольно большому, диаметром метров сорок; причем каждая камера должна была держаться на расстоянии десяти шагов одна от другой. Не нарушая этой дистанции, нам приходилось «бегать» почти на месте, но мы все же бегали. Прогульщик, тот чин тюремной администрации, который надзирает за прогулкой, смотрел на нашу тренировку скептически, но не вмешивался. Рабочие подсмеивались. Мужики смотрели недоуменно. Из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица... А мы все бегали.

Прогульщик стал смотреть на нас уже не скептически, а даже несколько сочувственно.

– Что, спортсмены? – спросил он как-то меня.

– Чемпион России, – кивнул я в сторону Бориса.

– Вишь ты, – сказал прогульщик.

На следующий день, когда прогулка уже кончилась, и вереница арестантов потянулась в тюремные двери, он нам подмигнул:

– А ну, валяй по пустому двору! Так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез. И попали в лагерь в таком состоянии физической fitness, которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни.

Рабоче-крестьянская тюрьма

Это была рабоче-крестьянская тюрьма в буквальном смысле. Сидя в одиночке на Шпалерке, я не мог составить себе никакого представления о социальном составе населения советских тюрем. В пересылке мои возможности несколько расширились. На прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно. Состав этой партии менялся постоянно, одних куда-то усылали, других присылали, но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии – обстоятельство, которое для меня было несколько неожиданным.

Больше всего было крестьян, до жути изголодавшихся и каких-то по особенному пришибленных. Иногда встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы, слышишь придуманный шепот:

– Братец, а братец. Хлебца бы корочку... А?

Много было рабочих. Эти имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты. И, наконец, мрачными фигурами, полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности, шагали по кругу «знатные иностранцы».

Это были почти исключительно финские рабочие, теми или иными, но большей частью нелегальными способами перебравшиеся в страну строящегося социализма, «на родину всех трудящихся» Сурово их встретила эта родина. Во-первых, ей и своих трудящихся деть было некуда; во-вторых, и чужим трудящимся неохота показывать своей нищеты, своего голода и своих расстрелов. А как выпустить обратно этих чужих трудящихся, хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона?

И вот, месяцами они маячат здесь по заколдованному кругу пересылки (сюда сажали и следственных, но не срочных заключенных) без языка, без друзей, без знакомых, покинув волю своей не пролетарской родины и попав в тюрьму пролетарской.

Эти пролетарские иммигранты в СССР – легальные, полулегальные и вовсе нелегальные – представляют собой очень жалкое зрелище. Их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая, которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд, возлагавшихся на эту пятилетку. Предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе, предполагался «небывалый рост благосостояния широких масс трудящихся» – многое предполагалось. Пятилетка пришла и прошла. Оказалось, что и своих собственных рабочих девать некуда, что перед страной, в добавление к прочим прелестям, стала угроза массовой безработицы, что от благосостояния массы ушли еще дальше, чем до пятилетки. Правительство стало выжимать из СССР и тех иностранных рабочих, которые приехали по договорам и которым тут нечем было платить и которых нечем было кормить. Но агитация продолжала действовать. Тысячи неудачников идеалистов, если хотите, идеалистических карасей, поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ГПУ.

Можно симпатизировать и можно не симпатизировать политическим убеждениям, толкнувшим этих людей сюда. Но не жалеть этих людей нельзя. Это не та коминтерновская шпана, которая едет сюда по всяческим, иногда даже не очень легальным визам советской власти, которая отдыхает в Крыму, на Минеральных Водах, которая объедает русский народ Инснбаами, субсидиями и просто подачками. Они, эти идеалисты, бежали от «буржуазных акул» к своим социалистическим братьям. К эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвалы ГПУ.

Эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах советской России, в том числе и у финляндской границы в Карелии, откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в Петрозаводскую тюрьму. Это было в селе Койкоры, куда я пробрался для разведки насчет бегства из социалистического рая, а они бежали в этот рай. Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны. Они видели еще очень немного, но и того, что они видели, было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего. Никто из них не знал русского языка, и никто из конвоиров не знал ни одного иностранного. Поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика. Один из них говорил по-немецки. Я переводил под проницательными взглядами полудюжины чекистов, буквально смотревших мне в рот. Финн плохо понимал по-немецки, и приходилось говорить очень внятно и раздельно. Среди конвоиров был один еврей, он мог кое-что понимать по-немецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь.

Мы стояли кучкой у грузовика. Из-за изб на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне, которые шарахались от грузовика и от финнов, как от чумы: перекинешься двумя-тремя словами, а потом Бог знает, что могут пришить. Финны знали что местное население понимает по-фински, и мой собеседник спросил, почему к ним никого из местных жителей не пускают. Я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ:

– Это не ихнее дело.

Финн спросил, нельзя ли достать хлеба или сала. Наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров, финн спросил, куда их везут. Начальник конвоя ответил: «Сам увидит», и пре-

дупредил меня: «Только вы лишнего ничего не переводите». Финн растерялся и не знал, что и спрашивать больше. Арестованных стали сажать в грузовик. Мой собеседник бросил мне последний вопрос:

– Неужели, буржуазные газеты говорили правду?

И я ему ответил словами начальника конвоя: увидите сами. И он понял, что увидеть ему предстоит еще очень много.

В концлагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных иммигрантов. Впоследствии я узнал, что всех их отправляют подальше: за Урал, на Караганду, в Кузбасс, подальше от соблазна нового бегства – бегства-возвращения на свою старую и несоциалистическую родину.

Умывающие руки

Однако, самое приятное в пересылке было то, что мы, наконец, могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.

Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы; и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи Е., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. *Nominae sunt odiosa* – назовем его «профессором Костей». Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика; он кончил гимназию к университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил московские свои командировки у меня в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.

И еще была у нас в Питере двоюродная сестра. Я и в жизни ее не видал, Борис встречался с нею давно и мельком; мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и почти как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит загружать хождением на передачи и свидания, а что вот Костя – так от кого же и ждать помощи, как не от него.

Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолащенных от всякого протеста... Мы послали до открытке – Косте и ей.

Как мы ждали первого дня свидания! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном – о том, что мы все-таки как-то еще живы. Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!

Когда голодаешь этак по-ленински – долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике, унижительные высоты.

В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.

– Который тут Солоневич?

– Все трое.

Дежурный изумленно воззрился на нас.

– Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание.

Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковички и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.

Но картошка... Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нам служить уже не будут. Все-таки по сравнению с могилой и концлагерь – радость.

Но Кости не было.

К следующему свиданию опять пришла Катя.

Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребла хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел; на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу. Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь.

Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными, но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя – из пришибленных?

Сейчас в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня, так неуклюже, как это только может делать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.

– Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает? Ведь, это же просто Акакий Акакиевич по ученой части. Ведь, он же: Ватик, трус. У него от одного Катиного звонка душа в пятки ушла. А чтобы придти на свиданье – что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом. Я, конечно, понимаю, Ватик, – смягчил Юра свою филиппику, – ну, конечно, раньше он, может быть и был другим, но сейчас...

Да, другим. Многие были иными. Да, сейчас, конечно – Акакий Акакиевич. Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок. Пайковый хлеб и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь до тошноты, читает Костя по всяким рабфакам – кому нужна теперь славянская литература. Тощий и шаткий уют на Васильевском острове. Вечная дрожь: справа – уклон, слева – загиб; снизу – голод, а сверху – просто ГПУ... Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь.

Да, можно понять. Как я этого раньше не понял? Можно простить. Но руку трудно подать. Хотя, разве он один, духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных забитых?

Их много. Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось...

Явление Иосифа

Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое. Но я не сразу поверил глазам своим.

Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:

– Куда же вы к чертовой матери меня пихаете? Ведь, здесь ни статья, ни сесть. Но дверь захлопнулась.

– Вот, сук-к-кины дети! – сказала личность по направлению к двери.

Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.

И я говорю этаким для вящего изумления равнодушным тоном:

– Ничего, И.А., как-нибудь поместимся. И.А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.

– Иван Лукьянович! Вот это значит – черт меня раздери. Неужели, ты? И Борис? А это, как я имею основание полагать, Юра. – Юру И. А. не видал 15 лет, не мудрено было не узнать.

– Ну, пока там что, давай поцелуемся. Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами.

– Как ты попал сюда? – спрашиваю я.

– Вот тоже дурацкий вопрос, – огрызается И.А. и на меня. – Как попал? Обыкновенно, как все попадают. Во всяком случае, попал из-за тебя, черт тебя дерит... Ну, это ты потом мне расскажешь. Глазное – все живы. Остальное – хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. К папиросы есть.

– Знаешь, И.А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я – за тобой.

Мы принимаемся за еду. И.А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:

– Ты знаешь, я уже месяцев восемь в Мурманске. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну, я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что в общем жить можно. Да еще в заливе морские окуни водятся – замечательная рыба! Я даже о коньках стал подумывать (И.А. был в свое время первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чертова уйма, и вдруг – ба-бах. Сажу вечерок дома, ужинаю, пью водку. Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать... Ах вы, сукины дети – еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите». Ну, мне плевать. Что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы тем под кроватями ползать будете... Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спецконвоем – двух идиотов приставили – повезли в Питер. Ну, деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали. Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внюхиваются. Ну, ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарчик, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре...

– Отчего же вы не сбежали? – снаивничал Юра.

– А какого мне, спрашивается, черта бежать? Куда бежать? И что я такое сделал, чтобы мне бежать? Единственное, что водку пил. Так за это у нас сажать еще не придумали. Наоборот: казне доход и о политике меньше думают. Словом, притащили на Шпалерку и посадили в одиночку. Потом вызывают на допрос – сидит какая-то толстая сволочь.

– Добротин?

– А черт его знает. Может и Добротин. Начинается, как обыкновенно мы все о вас знаем. Очень, говорю, приятно, что знаете. Только, если знаете, так на какого же черта вы меня посадили? Вы, говорит, обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества. У вас бывали такие-то и такие-то, вели такие-то и такие-то разговоры; знаем решительно все – и кто был, и что говорил. Я уже совсем ничего не понимаю. Водку пьют везде, и разговоры такие везде разговаривают. Если бы за такие разговоры сажали, в Питере давно бы ни одной души живой не осталось. Потом выясняется: и кроме того вы обвиняетесь в пособничестве попытке побега вашего товарища Солоневича.

Тут я понял, что вы влипли. Но откуда такая информация о моем собственном доме? Эта толстая сволочь требует, чтобы я подписал показания и насчет тебя и насчет всяких других моих знакомых. Я ему говорю, что ни черта подобного я не подпишу, что никакой контрреволюции у меня в доме не было, что тебя я за хвост держать не обязан. Тут этот следовательно начинает крыть матом, грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером. Ах ты, думаю, сукин сын! Я восемнадцать лет в советской России живу, а он еще думает расстрелом, видите ли, меня запугать. Я знаю, с ним очень вежливо говорил. Я ему говорю, пусть он тыкает револьвером в свою жену, а не в меня, потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу ткнуть... Хорошо, что он убрал револьвер, а то набил бы я ему морду.

Ну, на этом наш разговор кончился. А через месяца два вызывают и пожалуйста: три года ссылки в Сибирь. Ну, в Сибирь, так в Сибирь, черт с ними. В Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мне, ради Бога, И. Л.: вот ведь не дурак же ты, как же тебя угораздило попасться этим идиотам?

– Почему же идиотам?

И.А. был самого скептического мнения о талантах ГПУ.

– С такими деньгами и возможностями, какие имеет ГПУ, зачем им мозги. Берут тем, что четверть Ленинграда у них в шпиках служит. И если вы эту истину зазубрите у себя на носу, никакое ГПУ вам не страшно. Сажает так, для цифры, для запугивания. А толковому человеку их провести ни шиша не стоит. Ну, так в чем же, собственно, дело?

Я рассказываю, и по мере моего рассказа в лице И.А. появляется выражение чрезвычайного негодования.

– Бабенко! Этот сукин сын, который три года пьянствовал за моим столом и которому я бы ни на копейку не поверил! Ох, какая дура Е. Ведь, сколько раз ей говорил, что она дура – не верит. Воображает себя Меттернихом в юбке. Ей тоже три года Сибири дали. Думаешь, поумнеет? Ни черта подобного. Говорил я тебе, И.Л., не связывайся ты в таком деле с бабами – Ну, черт с ними, со всем этим. Главное, что живы, и потом – не падать духом. Ведь, вы же все равно сбежите.

– Разумеется, сбежим.

– И опять за границу?

– Разумеется, за границу. А то, куда же?

– Но за что же меня в конце концов, выперли? Ведь, не за контрреволюционные разговоры за бутылкой водки?

– Я думаю, за разговоры со следователем.

– Может быть. Не мог же я позволить, чтобы всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала.

– А что, И.А., – спрашивает Юра, – вы на самом деле дали бы ему в морду?

И.А. оцетинивается на Юру:

– А мне что по-вашему оставалось бы делать? Несмотря на годы неистового пьянства, И.А. остался жилистым, как старая рабочая лошадь и в морду мог бы дать. Я уверен, что дал бы. А пьянствуют на Руси поистине неистово, особенно в Питере, где кроме водки почти ничего нельзя купить, и где население пьет без просыпу. Так, положим, делается во всем мире, чем глубже нищета и безысходность, тем страшнее пьянство.

– Черт с ним, – еще раз резюмирует нашу беседу И.А. – В Сибирь, так в Сибирь. Хуже не будет. Думаю, что везде приблизительно одинаково паршиво.

– Во всяком случае, – сказал Борис, – хоть пьянствовать перестанете.

– Ну, это уж извините. Что здесь больше делать порядочному человеку? Воровать? Лизать сталинские пятки? Выслуживаться перед всякой сволочью? Нет, уж я лучше просто буду честно пьянствовать. Лет на пять меня хватит, а там – крышка. Все равно, вы ведь должны понимать, Б.Л., жизни нет. Будь мне тридцать лет – ну, туда-сюда. А мне пятьдесят. Что ж, семьей обзаводиться? Плодить мясо для сталинских экспериментов? Ведь, только приедешь домой, сядешь за бутылку, так по крайней мере всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь. Бежать с вами? Что я там буду делать? Нет, Б.Л., самый простой выход это просто пить.

В числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой, пожалуй, наиболее популярный: уход в пьянство. Хлеба нет, но водка есть везде. В нашей, например. Салтыковке, где жителей тысяч 10, хлеб можно купить только в одной лавчонке, а водка продается в шестнадцати, в том числе и в киосках того типа, в которых при «проклятом царском режиме» торговали газированной водой. Водка дешева. Бутылка водки стоит столько же, сколько стоит два

кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодняк, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет.

Конечно, никакой статистики алкоголизма в советской России не существует. По моим наблюдениям больше всего пьют в Петрограде, и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодняк. Уходят в пьянство от принудительной общественности, от казенного энтузиазма, от каторжной работы, от бесперспективности, от всяческого гнета, от всяческой тоски со человеческой жизни и от реальностей жизни советской.

Не все. Конечно, не все. Но по какому-то таинственному и уже традиционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей. Те, кто как Есенин, не смог, «задрать штаны, бежать за комсомолом». Впрочем, комсомол указывает путь и здесь.

Через несколько дней пришли забрать И.А. на этап.

– Никуда я не пойду. – заявил И.А. – У меня сегодня свидание.

– Какие тут свидания! – заорал дежурный. – Сказано, на этап. Собирай вещи!

– Собирайте сами. А мне вещи должны передать на свидании. Не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать.

– Ничего не знаю. Говорю, собирайте вещи, а то вас силой выведут.

– Идите вы к чертовой матери, – вразумительно сказал И.А.

Дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше.

– Вы что позволяете себе нарушать тюремные правила? – стал орать чин.

– А вы не орите. – сказал И.А. и жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом продранном полуботинке. – Ну, видите? Куда я к черту без подошв в Сибирь поеду?

– Плевать мне на ваши подошвы. Приказываю вам немедленно собирать вещи и идти.

Небритая щетина на верхней губе И.А. грозно стала дыбом.

– Идите к чертовой матери. – сказал И.А., усаживаясь на койку. – И позовите кого-нибудь поумнее.

Чин постоял в некоторой нерешительности и ушел, сказав угрожающе:

– Ну, сейчас мы вами займемся...

– Знаешь, И.А., – сказал я, – как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань.

– Хрен с ними. Эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери, таскает по тюрьмам, а я еще перед ним расшаркиваться буду. Пусть попробуют. Не всем, а уж кому-то морду набью.

Через полчаса пришел какой-то новый надзиратель.

– Гражданин А., на свидание.

И.А. уехал в Сибирь в полном походном обмундировании.

Этап

Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагерь. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца.

Наконец, отправляют и нас. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников, идет скрупулезный, бесконечный и в сущности никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах – конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение: при малейшей попытке к бегству – пуля в спину без всяких разговоров.

Раскрываются тюремные ворота, и за ними целая толпа, почти исключительно женская, человек пятьсот.

Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это – русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать и провожать своих мужей, братьев, сыновей.

Вот, где поистине «долюшка русская, долюшка женская»... Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины. Я знаю – они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе с самого рассвета; на этап идет около сорока грузовиков, погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят: мы сидим, точнее валяемся, на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах.

Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так быются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с «передачами», сэкономленными за счет самого жестокого недоедания! Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в Карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней вот так, мимоходом прихваченных чекистской машиной.

Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяная и каждую секунду рискуя попасть под колеса.

– Миша, Миша, родной мой, Миша!..

Конвоиры орут, потрясая своими наганями:

– Сиди на месте! Сиди, стрелять буду!

Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки и сколько еще пройдет. Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика, один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой.

Как хорошо, что нас никто здесь не встречает. И как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога... И остаться бессильным.

Машины ревут. Люди шарахаются в стороны.

Все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам «красной столицы» каким-то многоликим олицетворением *momento more*, каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам: сегодня я, а завтра ты.

Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки невидимому, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах бревенчатые вышки с пулеметами. У платформы бесконечный товарный состав – это наш эшелон, в котором нам придется ехать Бог знает, куда к Бог знает, сколько времени.

Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными. Но вместо налаженности – крик, ругань, сутолока, бестолковщина. Нас долго перегоняют от вагона к вагону. Все уже заполнено до отказа, даже по нормам чекистских этапов; конвоиры орут, урки ругаются, мужики стонут. Так тыкаясь от вагона к вагону, мы наконец попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой и озлобленной толпой.

Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихивают и 60 и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58; Мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать. Если за Урал, нужно рассчитывать на месяц, а то и на два. Понятно, что при

таких условиях места на нарах – а их на всех конечно, не хватит – сразу становятся объектом жестокой борьбы.

Дверь вагона с треском захлопывается и мы остаемся в полутьме. С правой по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо. Оба левых – за толстыми железными решетками. Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками; сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов, в воздухе мелькают тела, слышится мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей.

Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удастся протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посередине вагона.

Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробирается в теплушку свет, как январский ветер намывает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда. Посередине теплушки стоит печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мешочничества и Бог знает, чего еще.

Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает.

Ночь. Лязг буферов... Поехали... Мы лежим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги, и застывает мозг. Юра дрожит мелкой, частой дрожью, старается удержать ее и опять начинает дрожать.

– Юрчик, замерзаешь?

– Нет, Ватик, ничего.

Так проходит ночь.

К полудню на какой-то станции нам дали дров – немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу.

Большинство – это крестьяне. Они одеты во что попало, как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму, по сравнению с которой Шпалерка – это дворец. Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах сидят по 10–15 человек, там действительно негде ни стать, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 грамм хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи (деревня далеко, да и там нечего есть), если и выходят оттуда живыми, то выходят совсем уж привидениями.

Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол, под нижние нары, расположились у дверных щелей. Зеленые, оборванные, они робко взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан.

«В столицах шум, гремят витии»... Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. О травле интеллигенции пишет вся мировая печать. Но какая в сущности это ерунда, какая мелочь эта травля интеллигенции. Не помещики, не фабриканты, не профессора оплачивают в основном эти страшные «издержки революции» их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа концлагерей, коллективизации и закона о «священной социалистической собственности», от всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его мужицких костях. Да, конечно, интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было и в тюрьме и в лагере, например, мне. Значительно хуже большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского

крестьянства, и не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого. Ведь вот, как ни отвратительно мне, как ни голодно, ни холодно, каким бы опасностям я ни подвергался и буду подвергаться еще, со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться – возможностей, совершенно недоступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня плохо ли, хорошо ли, но все же судят. Крестьянина и расстреливают и ссылают или вовсе без суда или по такому суду, о котором и говорить трудно; я видал такие «суды». Тройка безграмотных и пьяных комсомольцев засуживает семью, в течение двух-трех часов ее разоряет вконец и ликвидирует под корень. Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг советской власти, я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало. Но я был нужен, в некотором роде «незаменим» и меня кормили и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят и с интеллигенцией разговаривают. И если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях «массовых кампаний» она садится за здорово живешь.

Я знаю, что эта точка зрения идет совсем в разрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее, но все то, что я видел в СССР – а видел я много вещей – создало у меня твердое убеждение: лишь в редких случаях интеллигенцию сажают за зря, конечно, с советской точки зрения. Она все-таки нужна. Ее все-таки судят. Мужика – много, им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он абсолютно бесправен, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька, так же он нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду, у него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты.

Положение интеллигенции? Ерунда – положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях: все это булавочные уколы. А мужика бьют по черепу дубьем.

И вот, сидит «сеятель и хранитель» великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую в рваный лапоть ногу. Руки зябко запрятаны в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печурки. Он весь скомкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее, вовсе исчезнуть так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил.

И вот, едет он на какую-то очередную «великую» сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет. В 1930–31 году такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работы, и он погибал десятками тысяч, так что на строительном фронте вместо «пополнений» оказывались сплошные дыры. Санчасть ББК догадалась: прибывающих с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее «усиленное» питание. И тогда люди гибли от того, что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу. Сейчас их оставляют на две недели в «карантине», постепенно втягивая и в работу и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукулловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь – все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован. Но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство, и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний «генеральной линии», от дикого, кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей?

Великое племя «урок»

Нас, интеллигенции, на весь вагон всего пять человек: нас трое, наш горе-романист Стёпушка, попавший в один с нами грузовик и еще какой-то ленинградский техник. Мы все приспособились вместе на средней наре. Над нами группа питерских рабочих: их нам не видно. Другую половину вагона занимает еще десятка два рабочих; они сытее и лучше одеты, чем крестьяне или, говоря точнее, менее голодны и менее оборваны. Все они спят.

Плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники. Они не то, чтобы оборваны, они просто полураздеты, но их выручает невероятная, волчья выносливость бывших беспризорников. Все они – результат жесточайшего естественного отбора. Все, кто не мог выдержать поездок под вагонными осями, ночевки в кучах каменного угля, пропитания из мусорных ям (советских мусорных ям!) – все они погибли. Остались только самые крепкие, по-волчьи выносливые, по-волчьи ненавидящие весь мир – мир, выгнавший их детьми на большие дороги голода, на волчью борьбу за жизнь.

Тепло от печки добирается, наконец, и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь от дикого крика и вижу: прислонившись спиной к стенке вагона, бледный, стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок. За другой конец мешка уцепился один из урок, плюгавый парнишка с глазами попавшего в капкан хорька. Борис тоже держится за мешок. Схема ясна: урка спер мешок, техник отнимает, урка не дает, в расчете на помощь «своих», Борис пытается что-то урегулировать. Он что-то говорит, но в общем гвалте и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькают кулаки, поленья и даже ножи. Мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису. Мы втроем представляем собой «боевую силу», с которой приходится считаться и уркам – даже и всей их стае, взятой вместе. Однако, плюгавый парнишка цепко и с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок, пока откуда-то не раздастся спокойный и властный голос:

– Пусти мешок...

Парнишка отпускает мешок и уходит в сторону, утирая нос, но все же с видом исполненного долга.

Спокойный голос продолжает:

– Ничего, другой раз возьмем так, что и слышать не будете.

Оглядываюсь. Высокий, иссиня бледный, испитой и, видимо, пахан, много и сильно на своем веку битый урка. Очевидно «пахан» – коновод и вождь уголовной стаи. Он продолжает, обращаясь к Борису:

– А вы чего лезете? Не ваш мешок – не ваше дело. А то так и нож ночью можем всунуть. У нас, брат, ни на каких обысках ножей не отберут.

В самом деле, какой-то нож фигурировал под свалкой. Каким путем урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь все тюрьмы и сквозь все обыски, Аллах их знает, но фабрикует и проносят. И я понимаю, вот в такой людской толчее, откуда-то из-за спин и мешков ткнут ножом в бок и пойдешь доискиваться.

Рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет: они-то по своему городскому опыту знают, что значит становиться урочьей стае поперек дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам. Остаемся мы четверо – Стёпушка не в счет – против 15 урок, готовых на все и ничем не рискующих. В этом каторжном вагоне мы, как на необитаемом острове. Закон остался где-то за дверьми теплушки, закон в лице какого-то конвойного начальника, заинтересованного лишь в том; чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах, превышающих некий «нормальный» процент. А что тут кто-то кого-то зарежет – кому какое дело.

Борис поворачивается к пахану:

– Бот тут нас трое: я, брат и его сын. Если кого-нибудь из нас ткнут ножом, отвечать будете вы.

Урка делает наглое лицо человека, перед которым ляпнули вопиющий вздор. И потом разражается хохотом.

– Ого-го! Отвечать! Перед самым Сталиным... Вот это здорово... Отвечать! Мы тебе, брат, кишки и без ответа выпустим...

Стая урок подхватывает хохот своего пахана. И я понимаю, что разговор об ответственности, о законной ответственности на этом каторжном робинзоновском острове – пустой разговор. Урки понимают это еще лучше, чем я. Пахан продолжает ржать и тычет Борису в нос сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца. Рука пахана сразу попадает в Бобины тиски. Ржанье переходит в вой. Пахан пытается вырвать руку, но это дело совсем безнадежное. Кто-то из урок срысывается на помощь своему вождю, но Бобин тыл прикрываем мы с Юрой, и все остаются на своих местах.

– Пусти, – тихо и сдающим тоном говорит пахан. Борис выпускает руку пахана. Тот корчится от боли, держится за руку и смотрит на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтения.

Да, конечно, мы не в девятнадцатом веке. *Faustrecht*. Ну, что ж. На нашей полудюжине кулаков, кулаков основательных, тоже можно какое-то право основать.

– Видите ли, товарищ... как ваша фамилия? – возможно спокойнее начинаю я.

– Иди ты к черту с фамилией, – отвечает пахан.

– Михайлов, – раз дается откуда-то со стороны.

– Так видите ли, товарищ Михайлов, – говорю я чрезвычайно академическим тоном. – Когда мой брат говорил об ответственности, то это, понятно, вовсе не в том смысле, что кто-то там куда-то пойдет жаловаться. Ничего подобного, Но если кого-нибудь из нас троих подколют, то оставшиеся просто переломают вам кости. И переломают всерьез. И именно вам. Так что и для вас и для нас будет спокойнее такими делами не заниматься.

Урка молчит. Он по уже испытанному ощущению Бобиной длани понял, что кости будут переломаны совсем всерьез.

Если бы не семейная спаянность нашей «стаи» и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урок раздела бы и ограбила нас до нитки. Так делается всегда – в общих камерах, на этапах, отчасти и в лагерях, где всякой случайной и разрозненной публике, попавшей в пещеры ГПУ, противостоит спаянная и классово-солидарная стая урок. У них есть своя организация, и эта организация давит и грабит. Впрочем, такая же организация существует и на воле. Там она давит и грабит всю страну.

Дискуссия

Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне.

– Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руку не сломал. И сейчас еще еле шевелится. Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка – страсть курить хочется.

Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка крутит козью ножку и сладострастно затягивается.

– Тоже надо понимать, товарищ Солоневич, собачье наше житье.

– Так чего же вы его не бросите?

– А как его бросить? Все мы – беспризорная шатия. От мамкиной ципки да прямо в беспризорники. Я, прямо говоря, с самого малолетства вор, так вором и помру. А этого супчика, техника-то, мы все равно обработаем. Не здесь, так в лагере. Сволочь. У него одного хлеба с пуд будет. Просили по-хорошему: дай хоть кусок. Так он как собака лается.

– Вот еще вас, сволочей, кормить. – раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас. Урка подымает голову.

– Да вот, хоть и неохотой, да кормите же. Так ты думаешь, я хуже тебя ем?

– Я ни у кого не прошу.

– И я не прошу. Я сам беру.

– Ну, вот и сидишь здесь.

– А ты где сидишь? У себя на квартире?

Рабочий замолкает. Другой голос с той же полки подхватывает тему:

– Воруют с трудящего человека последнее, а потом еще и корми их. Мало вас, сволочей, сажают.

– Нас действительно мало сажают, – спокойно парирует урка. – Вот вас много сажают. Ты, небось, лет на десять едешь, а я на три года. Ты на советскую власть на воле спину гнул за два фунта хлеба и в лагере за те же два фунта будешь гнуть. И подохнешь там к чертовой матери.

– Ну, это еще кто скорее подохнет.

– Ты подохнешь, – уверенно сказал урка. – Я, как весна – и ищи ветра в поле. А тебе куда податься? Подохнешь.

На рабочей наре замолчали, подавленные аргументацией урки.

– Таким прямо головы проламывать, – изрек наш техник.

У урки от злости и презрения перекошилось лицо.

– Эх ты, в рот плеваный. Это ты-то, черт моржовый, проламывать будешь? Ты смотри, сукин сын, на нос себе накрути. Это здесь мы просим, а ты куражишься, а в лагере ты у меня будешь на брюхе ползать, сукин ты сын. Там тебе в два счета кишки вывернут. Ты там, брат, за чужим кулаком не спрячешься. Вот этот – урка кивнул в мою сторону – этот может проломать. А ты... Эх ты, дерьмо вшивое.

– Нет, таких... да таких советская власть расстреливать должна. Прямо расстреливать. Везде воруют, везде грабят, – это, оказывается, вынырнул из-под нар наш Стёпушка. Его основательно ограбили урки в пересылке, и он предвидел еще массу огорчений в том же стиле. У него дрожали руки, и он брызгал слюной.

– Нет, я не понимаю. Как же это так? Везут в одном вагоне. Полная безнаказанность. Что хотят, то и делают.

Урка смотрит на него с пренебрежительным удивлением.

– А вы, тихий господинчик, лежали бы на своем местечке и писали бы свои показания. Не трогают вас, так и лежите. А вот часишки вы в пересылке обратно получили, так вы будьте спокойны – мы их возьмем.

Стёпушка судорожно схватился за карман с часами. Урки захохотали.

– Это из нашей компании, – сказал я, – так что на счет часиков уж вы не троньте.

– Все равно. Не мы, так другие. Не здесь, так в лагере. Господинчик-то ваш больно уж хреновый. Покаяния все писал. Знаю, наши с ним сидели.

– Не ваше дело, что я писал. Я на вас заявление подам.

Стёпушка нервничал, трусил и глумился. Я ему подмигивал, но он ничего не замечал.

– Вы, господинчик хреновый, слушайте, что я вам скажу. Я у вас пока ничего не украл, а украду – поможет вам заявление, как мертвому кадило.

– Нет, в лагере вас прикрутят, – сказал техник.

– С дураками, видно, твоя мамаша спала, что ты таким умным родился. В лагере. Эх ты, моржовая голова! Да что ты о лагере знаешь? Бывал ли ты в лагере? Я вот уже пятый раз еду, а ты мне о лагере рассказываешь.

– А что в лагере? – спросил я.

– Что в лагере? Первое дело вот, скажем, вы или этот господинчик – вы, ясное дело, контрреволюционеры. Вот та дубина, что наверху, – урка кивнул в сторону рабочей нары – тот

или вредитель или контрреволюционер. Ну, мужик – он всегда кулак. Это так надо понимать, что все вы классовые враги, ну и обращение с вами подходящее. А мы, урки – социально близкий элемент. Вот как. Потому мы, елки-палки, против собственности.

– И против социалистической? – спросил я.

– Э, нет. Казенное не трогаем. На грош возьмешь – на рубль ответу. Да еще в милиции быют. Зачем? Вот тут наши одно время на торгсин было насели. Нестоящее дело. А так просто ффраера, в от вроде этого господинчика. Во-первых, раз плюнуть. А второе – куда он пойдет? Заявления писать будет? Так уж будьте покойнички, с милицией я лучше сговорюсь, чем этот ваш шибздик. А в лагере и подавно. Уж там скажут тебе сними пинжак, так и снимай без разговоров, а то еще нож получишь.

Урка явно хвастался, но урка врал не совсем. Стёпушка, иссякнув, растерянно посмотрел на меня. Да, Стёпушке придется плохо, ни выдержки, ни изворотливости, ни кулаков. Пропадет.

Ликвидированная беспризорность

В книге советского бытия, трудно читаемой вообще, есть страницы, недоступные даже очень близко стоящему и очень внимательному наблюдателю. Поэтому всякие попытки «познания России» всегда имеют этакую прелесть неожиданности. Правда, прелесть эта несколько вывернута наизнанку, но неожиданности обычно ошарашивают своей парадоксальностью. Ну, разве не парадокс, что украинскому мужику в лагере живется лучше, чем на воле, и что он из лагеря на волю шлет хлебные сухари? И как это совместить с тем фактом, что этот мужик в лагере вымирает десятками и сотнями тысяч в масштабе ББК? А вот в российской сумятице это совмещается: на Украине крестьяне вымирают в большей пропорции, чем в лагере, и я реально видал крестьян, собирающих всякие объедки для посылки их на Украину. Значит ли это, что эти крестьяне в лагере не голодали? Нет, не значит. Но за счет еще большего голодания они спасали свои семьи от голодной смерти. Этот парадокс цепляется еще за один: за необычайное укрепление семьи, какое не снилось даже и покойному В. В. Розанову. А от укрепления семьи возникает еще одна неожиданность – принудительное безбрачие комсомолок: никто замуж не берет, ни партийцы, ни беспартийные, так и торчи всю свою жизнь какой-нибудь месткомовской девой.

Много есть таких неожиданностей. Я однажды видал даже образцовый колхоз. Его председателем был старый трактирщик. Но есть вещи, о которых вообще ничего нельзя узнать. Что мы, например, знаем о таких явлениях социальной гигиены в советской России, как проституция, алкоголизм, самоубийства? Что знал я до лагеря о «ликвидации детской беспризорности»? Я, исколесивший всю Россию!

Я видал, что Москва, Петроград, крупнейшие магистрали «подчищены» от беспризорников, но я знал и то, что эпоха коллективизации и голод последние лет дали новый резкий толчок беспризорности. Но только здесь в лагере я узнал, куда девается, и как «ликвидируется» беспризорность всех призывов – и эпохи военного коммунизма; тифов, гражданской войны и эпохи ликвидации кулачества, как класса, эпохи коллективизации и просто голода, стоящего вне «эпох» и образующего общий более или менее постоянный фон советской жизни.

Так, почти ничего я не знал о великом племени урок, населяющем широкие подполья социалистической страны. Раза два меня обворовывали, но не очень сильно. Обворовывали моих знакомых, иногда очень сильно, а два раза даже с убийством. Потом еще Утесов пел свои блатные песенки:

*С вапнярского кичмана
Сорвались два уркана,*

Сорвались два уркана на Одессу

Вот, примерно и все. Так иногда говорилось, что миллионная армия беспризорников подросла и орудует где-то по тылам социалистического строительства. Но так как об убийствах и грабежах советская пресса не пишет ничего, то данное «социальное явление» для вас существует лишь поскольку вы с ним сталкиваетесь лично. Вне вашего личного горизонта вы не видите ни краж, ни самоубийств, ни убийств, ни алкоголизма, ни даже концлагерей, поскольку туда не сели вы или ваши родные. И, наконец, так много и так долго грабили и убивали, что и кошелек и жизнь давно перестали волновать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.